

Таким образом, один из главных итогов рецензируемого исследования – определенное «развенчание» Перикла. Последовательно проводится тезис, что его величие, собственно, было создано Фукидидом, который имел на то особые причины.

Как можно в целом оценить монографию В. Вилля? Такие «еретические» работы, бесспорно, нужны в историографии. Сама попытка посмотреть на, казалось бы, бесспорные вещи «другими глазами» способствует многомерности познания исторической действительности. От каких-то штампов и стереотипов, связанных с деятельностью Перикла, книга, безусловно, заставляет отказаться. Сказанное, однако, не отменяет того факта, что многие выкладки автора представляются абсолютно неприемлемыми. И не по каким-то субъективным, эмоциональным причинам, а потому что исследователю далеко не все выдвигаемые положения удалось в должной мере обосновать фактами. Подчас, как нам показалось, он склонен несколько безапелляционно подходить к серьезнейшим и сложнейшим проблемам, так сказать, рубить сплеча, в чем за ним вовсе не обязательно следовать. И пусть перед нами – «последнее слово» западной историографии о Фукидиде и Перикле, как афористично заметил однажды (конечно, совсем по другому поводу) патриарх нашего антиковедения С.И. Соболевский, «не всякое последнее слово бывает вернее предпоследнего»<sup>22</sup>.

Небесспорным представляется даже и тот, казалось бы, очевидный, лежащий на поверхности вывод, что Фукидид был горячим поклонником Перикла. Насколько искренней была эта симпатия и не пронизаны ли «перикловские» пассажи в «Истории» иронией? Как минимум, два обстоятельства, на наш взгляд, могут косвенно свидетельствовать об этом. Во-первых, Перикл говорит в «Надгробной речи»: «Та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше всего говорят среди мужчин, в порицание или в похвалу» (Thuc. I. 45. 2); но ведь тогдашняя супруга «афинского олимпийца» – Аспасия – всем своим образом жизни являла полное противоречие этому тезису. Во-вторых, в той же «Надгробной речи» Перикл восхваляет афинскую демократию как строй, при котором «городом управляет не горсть людей, а большинство народа» (Thuc. II. 37. 1), а несколько ниже (II. 65. 9) Фукидид замечает, что при Перикле в Афинах «по названию... было правление народа, а на деле власть первого гражданина».

Эти противоречия бросаются в глаза современному читателю и, следует полагать, точно так же были заметны читателям античным. Да и в целом странно было бы, если бы Фукидид, выходец из рода Филаидов и родственник Кимона, оказался вдруг в лагере своего потомственного противника. Он, как известно, не находился в числе убежденных сторонников радикально-демократической формы правления. Его идеалом являлась скорее умеренная олигархия, не случайно режим «Пяти тысяч», установленный в 411 г. до н.э., оценивается Фукидидом (VIII. 97. 2) исключительно высоко. Так всегда ли к оценкам, эксплицитно даваемым великим историком и мыслителем, следует подходить прямолинейно и однозначно? Нет ли за ними «второго плана», незаметного для нас? Эти вопросы еще ждут ответа.

*И.Е. Суриков*

© 2006 г.

*SCHMAL S. Sallust. Hildesheim–Zürich–New York: Olms, 2001. 216 S.*

«Когда современные читатели, не обладающие специальными антиковедческими познаниями, приступают к переводу какого-нибудь древнего историка, чтобы углубить свое классическое образование, им должно в известной мере повезти, чтобы встретить текст, чтение которого способно к тому же доставить удовольствие, без чего это занятие малоперспективно. Тот, кто хоть раз читал отрывки из Фукидида или «Анналов» Тацита, знает, о чем идет речь. Несомненной удачей было бы взяться за «Югуртинскую войну» и – в еще большей степени – за «Заговор Катилины», небольшие по объему и отличающиеся мастерским изображением людей и событий, обрисован-

<sup>22</sup> Соболевский С.И. Транскрипция наименования Διογένης Λαέρτιος – Diogenes Laertius // ВДИ. 1948. № 2. С. 208.

ных в них скупыми, резкими штрихами (с. 7). Думається, именно этим во многом объясняется особый интерес антиковедов к Саллюстию – недаром он является одним из самых изучаемых писателей Рима. И нельзя не признать смелость Стефана Шмалья, который после книг В. Шура, Л. Оливьери, К. Бюхнера, Р. Сайма решился написать еще одну обобщающую монографию о первом римском историке. В то же время полезность такой работы очевидна, ибо за прошедшие 40 лет вышло немало исследований, аккумуляция которых в рамках сводного труда была бы весьма полезна.

Открывается книга главой о биографии Саллюстия и его эпохе. С. Шмаль отмечает, что, строго говоря, нет доказательств, позволяющих считать родиной историка Амитерн, как обычно полагают, хотя это и вполне вероятно. Что касается карьеры будущего писателя, то он, видимо, не слышком много времени провел на военной службе, о чем говорят его незначительные достижения, когда он был легатом и наместником при Цезаре, – по-видимому, смолоду Саллюстий тяготел к интеллектуальным занятиям. Остается лишь удивляться, что его, бывшего лишь квестором<sup>1</sup>, диктатор назначил наместником такой важной провинции, как Новая Африка, подчинив ему три легиона.

За время своей политической карьеры Саллюстий, видимо, не нажил себе опасных недругов, иначе бы он разделил участь Цицерона, с которым, как иногда считается, находился во враждебных отношениях, что, однако, опровергается «сбалансированным» изображением последнего в «Заговоре Катилины»<sup>2</sup>. Саллюстий был богат – но и это не навлекло на него бед (с. 10–20).

Занятия литературой, которым он предался после смерти Цезаря, были вполне обычны для римских политиков – вспомним Катона, Цезаря, Сенеку, Тацита, обоих Плинийев. Но ни один из них не может служить аналогией, ибо Саллюстий к этому времени уже отошел от дел, причем не обремененный годами и болезнями, как Сулла, а в расцвете сил. Возможно, именно пример Саллюстия вдохновил Азиния Поллиона, консуляра и триумфатора, когда он добровольно ушел из политики и занялся литературой. В этом Шмаль усматривает «эмансипацию» профессии писателя, примету принципата – уже при Августе писательство станет делом прежде всего частных лиц.

Был ли Саллюстий автором инвективы против Цицерона и автором писем к Цезарю, как еще недавно считалось? Шмаль сомневается в этом, допуская, что речь может идти разве что о наброске инвективы, который кто-то потом развил в законченное сочинение. «Судить о Саллюстии мы можем лишь по его историческим трудам» (с. 24–30).

Переходя к «Заговору Катилины», автор отмечает переменную динамику сочинения, когда рассказ о событиях сменяется экскурсами, речами, письмами, которые занимают добрую треть текста. И, конечно, нельзя не сказать о портретных характеристиках, среди которых образ Катилины занимает центральное место. Он – «идеальный» представитель своей среды, обремененный всевозможными пороками. Но Саллюстий не был бы настоящим писателем, если бы столь односторонне изобразил своего главного героя, за которым он признает и многие достоинства – силу разума и тела, военные способности. Отнюдь не демонические черты мы наблюдаем и в письме Катилины Лутацию Катулу. Несомненно, Катилина у Саллюстия интереснее и многомернее, чем у Цицерона. Менее ярок образ Семпронии, который к тому же не находит развития. Что же касается заговорщиков вообще, их изображение мало чем отличается от цicerоновского.

Противоположная сторона представлена Цезарем и Катоном. Автор отмечает, что речь Цезаря звучит спокойнее и убедительнее, чем грубые и агрессивные высказывания Катона. Тем не менее Шмаль отказывается вынести суждение о том, чью сторону занимает писатель: «Изложение историка и неуязвимость его собственной позиции больше всего выигрывают в том случае, когда он оставляет место для обеих точек зрения и равно оценивает их» (с. 42). Однако автор упускает из виду одно важное обстоятельство: Катон осуждает милосердие по отношению к заговорщикам примерно в тех же выражениях, какие содержатся в эдикте о проскрипциях у Алпиана (BC. IV, 8–9)<sup>3</sup>. То, что столь одиозные суждения вложены в уста добродетельного Катона, лишний раз говорит о неоднозначности и многомерности мышления Саллюстия. О том же, кстати, свидетельствует и отмеченное Шмалем вслед за другими исследователями сходство многих черт в характеристике Цезаря (щедрость, честолюбие) с образом Катилины.

<sup>1</sup> По неясным причинам автор умалчивает о претуре Саллюстия в 46 г. до н.э. (см. [Caes]. В. Afr. 8. 3; 34. 3; ср. *Dio Cass.* XLII. 52. 2 – претор-десигнат 47 г.; *Broughton T.R.S. The Magistrates of the Roman Republic.* V, II. Atlanta, 1984. P. 296, 613). Если он не доверяет данным источников на сей счет, следовало бы оговорить это.

<sup>2</sup> См. *Немировский А.И. У истоков исторической мысли.* Воронеж, 1979. С. 167–169.

<sup>3</sup> *Perl G. Sallust und die Krise der römischen Republik // Philologus.* 1969. Bd 113. S. 205–206.

Автор указывает на многочисленные хронологические нестыковки у Саллюстия: в 19, 3 говорится о гибели Пизона, а в 21, 3 Катилина рассчитывает на его помощь; в 24, 2 Катилина отправляет деньги Манлию в Фезулы, а в 27, 1 тот еще только уезжает из Города; всадники угрожают Цезарю мечами не *после* его речи в сенате, как в других источниках, а *до* нее и т.д. Все это не искажение в обычном смысле, а скорее художественные приемы, призванные представить события в нужном для автора ракурсе, прежде всего в соответствии с его морализаторской концепцией (с. 30–47).

Почему именно заговор Катилины (обвинения в адрес которого Шмаль считает во многом надуманными) привлек внимание писателя? Во многом это объясняется актуальностью данного сюжета, ибо во время противостояния Антония и Цицерона эта тема была весьма актуальна – Антоний похвалялся, что во многом похож на Катилину (Cic. Phil. IV, 15). В речах Цезаря и Катона содержатся явные намеки на триумвиров, которые выступают своего рода наследниками Катилины (с. 54–57).

В «Югуртинской войне» Саллюстий намерен проанализировать связь между внешней и внутренней политикой, а также между описываемыми событиями и современным ему кризисом римского общества. Шмаль отмечает, что именно римляне побуждают Югурту поставить себе на службу пороки их же сограждан, и в итоге нумидиец оказывается порождением нравов римского нобилитета, а война с ним являет собой, так сказать, эманацию отрицательных качеств нобилей и выглядит как перенесенная вонне гражданская война. Инициаторами активной борьбы с Югуртой выступают популяры, а то, что Марий показан решительным «демократом», еще более усиливает поляризацию, и его соперничество с Метеллом обретает внутривнутриполитическую логику. При этом и народ изображен довольно скептически, его ненависть к знати – низменное чувство, популяры же, разжигая страсти, также оказываются ответственными за кризис в государстве.

Куда большую роль, чем в *Coniuratio Catilinae*, играют личности, а также судьба – достаточно вспомнить заключительные слова *Bellum Iugurthinum* о надеждах, которые возлагала на Мария *civitas*. С последним связан один парадокс: в 1, 3 утверждается, что тем, кто идет по пути *virtus*, не нужна помощь *fortuna*. Примерно в том же духе рассуждает Марий, говорящий, что может надеяться лишь на себя (85, 4). Тем удивительнее, что он рассчитывает на высшие силы. Уже при взятии Капсы полководец надеется на удачу, кульминация же этого мотива достигается при осаде мулуккской цитадели. Однако, по мнению Шмала, дело не в легкомыслии Мариа или утрате им контроля над событиями<sup>4</sup> – в конце концов, он достаточно умен, чтобы принять план лигура по захвату мулуккской крепости<sup>5</sup>. Скорее речь идет не о некомпетентности Мариа как военачальника, а о том, что он – «дитя удачи» (Э. Лефевр). К этому хотелось бы добавить еще одно соображение: Марий, в сущности, не идет по пути *virtus*, ибо это слово ни разу не употребляется автором по отношению к нему от своего имени<sup>6</sup>, а потому не приходится удивляться, что полководец рассчитывает на помощь *fortuna* (с. 58–67)<sup>7</sup>.

Как и в «Заговоре Катилины», в «Югуртинской войне» Саллюстий зачастую перекраивает исторический материал в ущерб истине. Он, в частности, умалчивает о том, что еще за год до того, как встал вопрос о помощи Адгербалу, началась война с кимврами, и в этих условиях, особенно если учесть заслуги Югурты перед Римом и его связи, осторожность римских полководцев в Африке и умеренность их требований к царю вполне объяснимы. У Саллюстия вражда Метелла и Мариа начинается из-за желания последнего стать консулом, а по другим источникам известно, что трения между ними были и раньше – очевидно, трактовка автора *Bellum Iugurthinum* призвана оттенить конфликт между нобилем и *homo novus*. Иными словами, вольности Саллюстия в обращении с материалом обусловлены задачами как литературного, так и морализаторского характера, которые он ставил перед собой (с. 70–78).

Переходя к «Истории», Шмаль отмечает, что она, возможно, не просто не окончена – не исключено, что Саллюстий хотел довести изложение до современных ему событий. То, что при этом пришлось бы рассказывать о заговоре Катилины, уже описанном им в свое время, препятствием стать не могло – писал же Тацит и «Историю», и «Атриколу».

Во введении «Истории» Шмаль усматривает новшество по сравнению с предыдущими произведениями – если в тех просто говорилось, что нравы римлян прежде стали ухудшаться после паде-

<sup>4</sup> Ср.: «Саллюстий сосредотачивает свое внимание на Марии в тот момент, когда дух оказывается не в состоянии контролировать события и принять надлежащее решение» (*Brescia G. La 'scalata' del liguro. Saggio di commento a Sallustio, Bellum Iugurthinum 92–94. Bari, 1997. P. 62.*)

<sup>5</sup> На это я также указывал в рецензии на книгу Г. Брешии (ВДИ. 2002. № 4. С. 204).

<sup>6</sup> См. *Syme R. Sallust. Berkeley – Los Angeles–London, 1964. P. 163.*

<sup>7</sup> По мнению автора, вопрос о «счастье Мариа» вновь обрел актуальность в 40-е годы до н.э. – не о счастье ли Цезаря шла речь (с. 68)?

ния Карфагена, то здесь указывается, что первые раздоры произошли из-за врожденных пороков, свойственных людям (*vitio humani ingenii* – I. 7). Страх перед внешним врагом, таким образом, лишь сдерживал их. Такая схема не вписывается в традиционную римскую модель, приближаясь к взглядам Фукидида на неизменность человеческой природы.

Рассматривая речи и письма из «Историй», Шмаль отмечает, что Лепид в глазах писателя не заслуживает похвалы – сулланские порядки отвратительны, но открытый призыв к восстанию ничуть не лучше, и это сближает Лепида с Катилиной. Однако и противник Лепида Филипп не совсем прав, недаром его речь полна риторических ухищрений. К тому же его нежелание восстановить трибунскую власть не могло нравиться бывшему плебейскому трибуну Саллюстию<sup>8</sup>. В речи Котты автор усматривает ложную патетику и полную беспомощность оратора в условиях возникших трудностей. Беспомощность олигархии демонстрирует и возвышение Помпея – для решения военных проблем сенат вынужден посылать полководцев с огромными силами, сами эти силы уже не контролируя. И то, что вызывающий симпатию писателя трибун Макр возлагает свои надежды на ненавистного Саллюстию Помпея, говорит лишь об отсутствии альтернатив. Говоря о письме Митридата, Шмаль отмечает, что понтийский царь тенденциозно излагает факты, невыгодные для римлян, и потому возражает против попыток считать это письмо доказательством враждебности историка «римскому империализму». Скорее можно говорить о стремлении в духе Фукидида рассматривать внешнюю политику Рима с самых разных сторон (с. 84–91).

«История» свидетельствует о растущем пессимизме Саллюстия: никто уже не верит в свободу людей, способных стать надеждой государства, нет; власть и успех – удел людей, подобных Сулле и Помпею. Сын славного Метелла предается роскоши в Испании, а Серторий, возможно, единственный, кто способен вызвать настоящую симпатию, – гибнет. Такой достойный человек, как Макр, вынужден возлагать свои надежды на Помпея. Ко всему этому добавляется доходящий чуть ли не до цинизма вкус писателя к изображению грубых и жестоких сцен вроде казни Карбона и Мария Гратидиана, чего не было в прежних сочинениях (с. 94–95).

Подробно рассматривает Шмаль вопросы географии и этнографии у Саллюстия, указывая на их тесную связь с греческой традицией. Особое внимание уделяется изображению жителей Африки (нумидийцев, гетулов, мавров), о которых писатель знал не понаслышке. Нумидийцы представлены несколько примитивнее, чем то было на самом деле, неся на себе черты «идеальных» варваров вроде геродотовских эфиопов – они ведут здоровый образ жизни, лишены пороков цивилизации и т.д. Но африканцам свойственны непостоянство и коварство, что сказывается даже на их тактике – атаках с последующим отходом, засадами и т.д. Характерна оценка Саллюстия, данная им в оправдание расправы Мария со сдавшими жителями Капсы: *genus hominum mobile* (Iug. 91. 7). Еще один яркий пример – размышления Бокха о выдаче Югурты, когда царь помыслит о смене решения (113. 3). При этом его поведение изображено как свойственное и представителям местных этносов, и царю. Еще одна «варварская» особенность африканских обычаев – многоженство, которое сеет раздоры между знатыми людьми из-за многочисленности потомства. В заключение Шмаль подчеркивает теснейшую связь национальных особенностей героев с их поведением и развитием сюжета (с. 102–109).

Затем автор переходит к рассмотрению философских взглядов Саллюстия. Отдавая духу предпочтение перед телом, писатель озабочен тем, как же в действительности вернуть первому его господствующее положение? Сделать это поможет история, ибо именно благодаря ей обретают славу выдающиеся деяния. При этом делается выпад против катонского идеала сельской жизни, ибо охота и земледелие – занятия рабов (Cat. 4. 1; 8. 2–5). Еще более уверенно выражает свою позицию Саллюстий в «Югуртинской войне», подчеркивая нетленность и вечность духа и утверждая ценность своих занятий историей. *Scriptor regum* – не только фиксатор событий, сохраняющий их для будущего, но и моральная инстанция. Благодаря ему дух возвращает себе власть над событиями – пусть лишь в теории.

Но отмечается и другое. Участники заговора Катилины – деревенская молодежь, измученная тяготами сельской жизни, а также дети проскриптов, лишённые имущества и ограниченные в правах. «Ясно, что человек Саллюстия – порождение не только собственной воли, но и внешних обстоятельств, принципиально изменяемое ими. Дух здесь не властен, поскольку должен склониться перед законами внешнего мира» (с. 122). Думается, что материал для такого вывода дают и размышления писателя о самом себе, когда он говорит о том, какое влияние оказывали на него дурные нравы общества и что дух его успокоился (*animus... requievit*) лишь после отказа от участия в политике (Cat. 3. 3–4. 2).

<sup>8</sup> Следовало бы отметить тот важный факт, что подтекст речи Филиппа направлен против триумвиров (*Peri. Op. cit.* S. 212–215).

Автор отмечает противоречивость представлений Саллюстия о *virtus*. Все как будто бы ясно: *virtus* – совокупность добродетелей, поставленных на службу *civitas*, из которых важнейшую роль, помимо мужества воина, играют *industria, ingenium, aequitas, continentia, concordia*. С одной стороны, этот канон добродетелей ориентирован на личные достижения, с другой – требует коллективного подчинения, чтобы деяния граждан служили общему благу. «В этой взрывоопасной смеси личного честолюбия и групповой дисциплины – главная моральная дилемма уходящей Республики. Позиция самого Саллюстия однозначна лишь в теории: Катон был верным слугой *res publica*, но Цезарь... стремился удовлетворить прежде всего собственное честолюбие. Обоих Саллюстий считает выдающимися носителями *virtus* своего времени» (с. 114–117).

Анализируя стиль историка с его архаизмами, гречизмами, знаменитой *brevitas* и т.д., Шмаль задается вопросом: почему Саллюстий писал именно так? Что это – ориентация на лучшие времена и традиции? протест против современных ему издешевств? Возможно. Но уместно вслед за Дж. Фукаиоли вспомнить мысль Фукидида о том, что в смутные времена слова меняют свое обычное значение (Ш. 82. 4). То же происходит и у Саллюстия, понять которого иногда можно лишь исходя из контекста. Таким образом, он «не только переносит критику эпохи в критику языка (*Sprachkritik*), но и прямо высказывается за новую субъективность. По этому пути затем пойдет Тацит» (с. 138–139).

Рассматривая литературные источники Саллюстия, Шмаль отмечает, что писатель зачастую, возможно, не читал трудов ни греков, ни римлян целиком, а пользовался сборниками эксцерптов. Но дело не сводилось к начетничеству – идеи и методы Фукидида (а также, добавим, Платона) он усвоил достаточно глубоко, что отмечали еще Веллей Патеркул и Квинтилиан. В этом плане показательны параллели с фукидидовскими речами Перикла, Диодота, описанием *stasis* на Керкире, некоторых сражений, а также идейная общность – глубокий пессимизм, убеждение в неизменности и эгоистичности человеческой природы, нуждающейся в узде, рационалистический подход, представление о первенствующей роли духа<sup>9</sup>. Однако Фукидиду чужда персональная ориентированность, характерная для Саллюстия, – решающей роли в развязывании Пелопоннеской войны не играет никто, она неизбежна, ибо корни ее – в столкновении различных систем, причем гражданские коллективы ведут себя по законам индивидума. Сочинения же римлянина невозможно представить без их протагонистов. Такие драматические сцены, как размышления Бокха о выдаче Югурты, скорее можно встретить в аттической трагедии, чем у Фукидида. Да и уровень анализа последнего Саллюстием с его морализаторством несвойствен (с. 125, 148–153).

Последние две главы книги посвящены рецепции и исследованиям творчества первого римского историка. Несмотря на отдельные критические замечания (Варрон, Ленея), творчество Саллюстия обрело немало почитателей и подражателей (Веллей Патеркул, Сенека, Тацит и др.), а его сочинения вошли в школьный канон и даже – редкий случай! – переводились на греческий. Августин использовал труды писателя в полемике с язычниками, и это обеспечило Саллюстиему прочные позиции в средневековье. Его влияние ощущается в хрониках Видукинда, Фригольфа, анонимной биографии Генриха IV<sup>10</sup>. В эпоху Возрождения имя Катилины было на устах у политических деятелей Италии. Вокруг него слагались легенды, в одной из которых он сражался с римлянами и погиб под Флоренцией вместе с Аттилой (!). Если говорить о новейшей истории, то тема описанной историком Югуртинской войны пользовалась популярностью во время алжирского конфликта. Кратко освещается тема заговора Катилины в художественной литературе.

Что же касается исследовательского интереса к Саллюстиему, то Шмаль отмечает его относительное ослабление – по крайней мере в Германии. Причины этого видятся автору как в малой актуальности творчества Саллюстия для современной научной проблематики (в частности, повседневной истории), так и в утрате «классиками» былого авторитета (с. 170). Мы, однако, можем лишь позавидовать германским коллегам и студентам, в распоряжении которых появилась еще одна добротная обобщающая работа о первом римском историке. В нашей литературе, увы, до сих пор ни одной книги о нем нет.

А.В. Короленков

<sup>9</sup> Здесь необходимо важное уточнение: неизменной человеческая природа выглядит у Саллюстия лишь в «Историях».

<sup>10</sup> Можно также добавить к этому ряду хроника Рихера Реймского (*Тарасова А.В. Рихер Реймский и его «Четыре книги истории» // Рихер Реймский. История. М., 1997. С. 241–246.*)